

Дина Рубина

Русская канарейка

Блудный сын



Москва
2022

Посвящается Боре

Луковая роза

1

Невероятному, опасному, в чем-то даже героическому путешествию Желтухина Пятого из Парижа в Лондон в дорожной медной клетке предшествовали несколько бурных дней любви, перебранок, допросов, любви, выпытываний, воплей, рыданий, любви, отчаяния и даже одной драки (после неистовой любви) по адресу рю Обрио, четыре.

Драка не драка, но сине-золотой чашкой севрского фарфора (два ангелочка смотрятся в зеркальный овал) она в него запустила, и попала, и ссадила скулу.

— Елы-палы... — изумленно разглядывая в зеркале ванной свое лицо, бормотал Леон. — Ты же... Ты мне физиономию расквасила! У меня в среду ланч с продюсером канала *Mezzo*...

А она и сама испугалась, налетела, обхватила его голову, припала щекой к его ободранной щеке.

— Я уеду, — выдохнула в отчаянии. — Ничего не получается!

У нее, у Айти, не получалось главное: вскрыть его, как консервную банку, и извлечь ответы на все категорические вопросы, которые задавала, как умела, — упреков неумолимый взгляд в сердцевину его губ.

В день своего ослепительного явления на пороге его парижской квартиры, едва он разомкнул наконец обруч истосковавшихся рук, она развернулась и ляпнула наотмашь:

— Леон! Ты бандит?

И брови дрожали, взлетали, кружили перед его изумленно поднятыми бровями. Он засмеялся, ответил с прекрасной легкостью:

— Конечно, бандит.

Снова потянулся обнять, но не тут-то было. Эта крошка приехала воевать.

— Бандит, бандит, — твердила горестно, — я все обдумала и поняла, знаю я эти замашки...

— Ты сдурела? — потряхивая ее за плечи, спрашивал он. — Какие еще замашки?

— Ты странный, опасный, на острове чуть меня не убил. У тебя нет ни мобильного, ни электронки, ты не терпишь своих фотографий, кроме афишной, где ты — как радостный обмылок. У тебя походка, будто ты убил триста человек... — И встрепенувшись, с запоздалым воплем: — Ты затолкал меня в шкаф!!!

Да. В кладовку на балконе он ее действительно затолкал, — когда Исадора явилась наконец за указаниями, чем кормить Желтухина. От растерянности спрятавшись, не сразу сообразив, как объяснить консьержке мизансцену с полураздетой гостьей в прихожей, верхом на дорожной сумке... Да и в кладовке этой чертовой она отсидела ровно три минуты, пока он судорожно объяснялся с Исадорой: «Спасибо, что не забыли,

моя радость, — (пальцы путаются в петлях рубашки, подозрительно выпущенной из брюк), — однако получается, что уже... э-э... никто никуда не едет».

И все же вывалил он на следующее утро Исадоре *всю правду!* Ну, положим, не всю; положим, в холл он спустился (в тапках на босу ногу) затем, чтобы отменить ее еженедельную уборку. И когда лишь рот открыл (как в песне блатной: «Ко мне нагрянула кухня из Одессы»), сама «кухня», в его рубахе на голое тело, едва прикрывавшей... да ни черта не прикрывавшей! — вылетела из квартиры, сверзилась по лестнице, как школьник на переменке, и стояла-перетаптывалась на нижней ступени, требовательно уставясь на обоих. Леон вздохнул, расплылся в улыбке блаженного крестина, развел руками и сказал:

— Исадора... это моя любовь.

И та уважительно и сердечно отозвалась:

— Поздравляю, месье Леон! — словно перед ней стояли не два обезумевших кролика, а почтенный свадебный кортеж.

На второй день они хотя бы оделись, отворили ставни, заправили измученную тахту, сожрали подчистую все, что оставалось в холодильнике, даже полузасохшие маслины, и вопреки всему, что диктовали ему чутье, здравый смысл и *профессия*, Леон позволил Айе (после грандиозного скандала, когда уже заправленная тахта вновь взывала всеми своими пружинами, принимая и принимая неустанный сиамский груз) выйти с ним в продуктовую лавку.

Они шли, шатаясь от слабости и обморочного счастья, в солнечной дымке ранней весны, в путанице узорных теней от ветвей платанов, и даже этот мягкий свет казался слишком ярким после суток любовного

10 заточения в темной комнате с отключенным телефоном. Если бы сейчас некий беспощадный враг вознамерился растащить их в разные стороны, сил на сопротивление у них было бы не больше, чем у двух гусениц.

Темно-красный фасад кабаре «Точка с запятой», оптика, магазин головных уборов с болванками голов в витрине (одна — с нахлобученной ушанкой, приплавшей сюда из какого-нибудь Воронежа), парикмахерская, аптека, мини-маркет, сплошь обклеенный плакатами о распродажах, brassерия с головастыми газовыми обогревателями над рядами пластиковых столиков, выставленных на тротуар, — все казалось Леону странным, забавным, даже диковатым — короче, абсолютно иным, чем пару дней назад.

Тяжелый пакет с продуктами он нес в одной руке, другой цепко, как ребенка в толпе, держал Айю за руку, и перехватывал, и гладил ладонью ее ладонь, перебирая пальцы и уже тоскуя по *другим, тайным* прикосновениям ее рук, не чая добраться до дома, куда плестись предстояло еще черт знает сколько — минут восемь!

Сейчас он бессильно отметал вопросы, резоны и опасения, что наваливались со всех сторон, каждую минуту предъявляя какой-нибудь новый аргумент (с какой это стати его оставили в покое? Не пасут ли его на всякий случай — как тогда, в аэропорту Краби, — справедливо полагая, что он может вывести их на Айю?).

Ну не мог он без всяких объяснений запереть *прилетевшую птицу* в четырех стенах, поместить в капсулу, наспех слепленную (как ласточки слюной лепят гнезда) его подозрительной и опасливой любовью.

Ему так хотелось прогулять ее по ночному Парижу, вытащить в ресторан, привести в театр, наглядно показав самый расчудесный спектакль: постепенное пре-

ображение артиста с помощью грима, парика и костюма. Хотелось, чтоб и ее пленил уют любимой гримерки: неповторимая, обворожительная смесь спертых запахов пудры, дезодоранта, нагретых ламп, старой пыли и свежих цветов.

Он мечтал закатиться с ней куда-нибудь на целый день — хотя бы и в Парк импрессионистов, с вензелистым золотом его чугунных ворот, с тихим озером и грустным замком, с картинным пазлом его цветников и кружевных партеров, с его матерыми дубами и каштанами, с плюшевыми куколями выстриженных кипарисов. Запастись бутербродами и устроить пикник в псевдояпонской беседке над водоемом, под картавый лягушачий треп, под треск оголтелых сорок, любуясь плавным ходом невозмутимых селезней с их драгоценными, изумрудно-сапфировыми головками...

Но пока Леон не выяснил намерений *друзей из конторы*, разумнее всего было если не смыться из Парижа куда подальше, то, по крайней мере, отсидеться за дверьми с надежными замками.

Что там говорить о вылазках на природу, если на ничтожно малом отрезке пути между домом и продуктовой лавкой Леон беспрестанно озирался, резко останавливаясь и застревая перед витринами.

Вот тут он и обнаружил, что одетой фигуре Айи чего-то недостает. И понял: фотоаппарата! Его и в сумке не было. Ни «специально обученного рюкзака», ни кофра с камерой, ни этих устрашающих объективов, которые она называла «линзами».

— А где же твой *Canon*? — спросил он.

Она легко ответила:

— Продала. Надо ж было как-то к тебе добраться... Башли твои у меня тю-тю, спёрли.

12 — Как — сперли? — Леон напрягся.

Она махнула рукой:

— Да так. Один наркуша несчастный. Спер, пока я спала. Я его, конечно, отметелила — потом, когда в себя пришла. Но он уже все спустил до копейки...

Леон выслушал эту новость с недоумением и подозрением, с внезапной дикой ревностью, ударившей набатом в сердце: какой такой *наркуша*? как мог *спереть* деньги, когда она спала? в какой ночлежке оказался так вовремя рядом? и насколько же это *рядом*? или не в ночлежке? или не *наркуша*?

Мельком благодарно отметил: хорошо, что Владка с детства приучила его смиренно выслушивать любовью невероятный бред. И спохватился: да, но ведь *эта* особа врать не умеет...

Нет. Не сейчас. Не вспугни ее... Никаких допросов, ни слова, ни намек на подозрительность. Никакого повода к серьезной стычке. Она и так искрит от каждого слова — рот открыть боязно.

Свободной рукой обнял ее за плечи, притянул к себе и сказал:

— Купим другую. — И, поколебавшись: — Чуть позже.

Честно говоря, отсутствие такой весомой приметы, как фотоаппарат, с угрожающими хоботами тяжелых линз-объективов, сильно облегчало их передвижения: перелеты, переезды... исчезновения. Так что Леон не торопился восполнить потерю.

Но скрывать Айю, неуправляемую, издалека заметную, не открывшись перед ней хотя бы в каких-то разумных (и в каких же?) пределах... задача была не из легких. Не мог же он, в самом деле, запирать ее в кладовке на время своих отлучек!

Он ужом вертелся: понимаешь, детка, не стоит тебе одной выходить из дома, здесь не очень спокойный

район, много шляется разной сволоты — сумасшедшие, маньяки, полно каких-то извращенцев. Никогда не знаешь, на кого наткнешься...

Глупости, хмыкала она, — центр Парижа! Вот на острове, там да: один сумасшедший извращенец заманил меня в лес и чуть не задушил. Вот там было о-о-очень страшно!

— Ну хорошо. А если я просто тебя попрошу? Пока без объяснений.

— Знаешь, когда наша бабушка не хотела что-то объяснять, она кричала папе: «Помолчи!» — и он как-то сникал, не хотел старуху огорчать, он же деликатный.

— В отличие от тебя.

— Ага, я совсем не деликатная!

Слава богу, она хотя бы к телефону не подходила. Звонки Джерри Леон игнорировал и однажды просто не открыл ему дверь. Филиппа водил за нос и держал на расстоянии, дважды отклонив приглашение поужинать вместе. Две ближайшие репетиции с Робертом отменил, сославшись на простуду (вздыхал в трубку бесстыжим голосом: «Я ужасно болен, Роберт, ужасно! Перенесем репетицию на... да я сам позвоню, когда приду в себя», — и, похоже, небу следовало упасть на землю, чтобы он *пришел в себя*).

Ну, а дальше, как дальше-то быть? И сколько они смогут так отсиживаться — звери, обложенные опасным счастьем? Не может же она торчать с утра до вечера в квартире, как Желтухин Пятый в клетке, вылетая погулять под присмотром Леона по трем окрестным улочкам. Как объяснишь ей, не раскрываясь, странное сопряжение его светской артистической жизни с привычной, на уровне инстинкта, конспирацией? Какими отмеренными в гомеопатических дозах словами

14 рассказать про *контору*, где целая армия специалистов считает недели и дни до часа икс в неизвестной бухте? Как, наконец, не потревожив и не вспугнув, нащупать бикфордов шнур в тайный мир ее собственных страхов и нескончаемого бегства?

И вновь накатывало: насколько, в сущности, они беззащитны оба — два беспризорника в хищном мире всесветной и разнонаправленной охоты...

* * *

— Мы поедем в Бургундию, — объявил Леон, когда они вернулись домой после первой хозяйственной вылазки с чувством, что совершили кругосветное путешествие. — В Бургундию поедем, к Филиппу. Вот отпою спектакль тринадцатого, и... да, и четырнадцатого запись на радио... — Вспомнил и простонал: — О-о-о, еще ведь концерт в Кембридже, да... Но потом! — увлекающим и бодрым тоном: — Потом мы обязательно уедем на пять дней к Филиппу. Там леса, косули-зайцы... камин и Франсуаза. Ты влюбишься в Бургундию!

За туманную кромку этих пяти дней боялся заглядывать, ничего не соображал.

Он вообще сейчас не мог соображать: все внимание его, все нервы, все несчастные интеллектуальные усилия были направлены на то, чтобы ежесекундно держать круговую оборону против своей возлюбленной: вот уж кто не заботился о подборе слов, кто забрасывал его вопросами, не спуская требовательных глаз с его лица.

— А как ты узнал наш адрес в Алма-Ате?

— Ну-у... Ты же его называла.

— Врешь!

— Да это простейшая задача справочной службы, клещ ты мой ненаглядный!

Как-то выходило, что ни на один ее вопрос он не мог дать правдивого ответа. Как-то получалось, что вся его крученая-верченая, как поросячий хвост, проклятая жизнь была вплетена в замысловатый ковровый узор не только личных тайн, но и совершенно закрытых сведений и кусков биографий — и своей, и чужих, — на изложение которых, даже просто на намек он права не имел. Его Иерусалим, его отрочество и юность, его солдатская честная и другая, тайная, рисковая, а порой и преступная по меркам закона жизнь, его блаженно растворенный в глотке, гортанно перебирающий связки *запретный* иврит, его любимый *богатый* арабский (который он иногда прогуливал, как пса на поводке, в какой-нибудь парижской мечети или в культурном центре где-нибудь в Рюзе) — весь огромный материк его прошлого был затоплен между ним и Айей, как Атлантида, и больше всего Леон боялся момента, когда, отхлынув естественным отливом, их утоленная телесная жажда оставит на песке следы их беззащитно обнаженных жизней — причину и повод задуматься друг над другом.

Пока спасало лишь то, что квартирка на рю Обрио была до краев заполнена подлинным и насущным сегодняшним днем: его работой, его страстью, его Музыкой, которую — увы! — Айя не могла ни прочувствовать, ни разделить.

С осторожным и несколько отчужденным интересом она просматривала на «Ютьюбе» отрывки из оперных спектаклей с участием Леона. Выбеленные гримом персонажи в тогах, кафтанах, современных

16 костюмах или мундирах разных армий и эпох (загадочный выплеск режиссерского замысла) неестественно широко разевали рты и подолгу так застре-вали в кадре, с идиотским изумлением в округленных губах. Их чулки с подвязками, ботфорты и бальные тапочки, пышные парики и разнообразные голов-ные уборы, от широкополых шляп и цилиндров до военных касок и тропических шлемов, своей неесте-ственной натужностью просто приводили в оторопь нормального человека. Аяя вскрикивала и хохотала, когда Леон появлялся в женской роли, в костюме эпо-хи барокко: загримированный, в пудренном парике, с кокетливой черной мушкой на щеке, в платье с фиж-мами и декольте, обнажавшем слишком рельефные для женского образа плечи («Ты что, лифчик надевал для этого костюма?» «Ну-у... пришлось, да». «Ватой набивал?» «Зачем, для этого есть специальные при-способления». «Ха! Бред какой-то!» «Не бред, а театр! А твои “рассказы” — они что, не театр?»).

Она старательно пролистала пачку афиш, висящих за дверью в спальне, — по ним можно было изучать географию его передвижений в последние годы; скло-нив голову к плечу, тихо трогала клавиши «стейнвея»; заставила Леона что-то пропеть, напряженно следя за артикуляцией губ, то и дело вскакивая и припадая ухом к его груди, будто стетоскоп прикладывала. Задумчиво попросила:

— А теперь — «Стаканчики граненые»...

И когда он умолк и обнял ее, покачивая и не отпу-ская, долго молчала. Наконец спокойно проговорила:

— Только если всегда сидеть у тебя на спине. Вот если бы ты басом пел, тогда есть шанс услышать... как бы издалека, очень издалека... Я еще в наушниках по-пробую, потом, ладно?

А что — потом? И — когда, собственно?

Она и сама оказалась отменным конспиратором: ни слова о главном. Как он ни заводил осторожных разговоров о ее лондонской жизни (подступался исподволь, в образе ревнивого любовника, и видит бог, не слишком притворялся), всегда замыкалась, сводила к пустякам, к каким-нибудь забавным случаям, к историям, произошедшим с нею самой или с ее безалаберными друзьями: «Представляешь, и этот детина, размахивая пистолетом, рывкает: живо ложись на землю и гони *мани!* А Фил стоит как дурак с гамбургером в руках, трясется, но жалко же бросить, только что купил горячий, жрать охота! Тогда он говорит: “А вы не могли бы поддержать мой ужин, пока я достану портмоне?” И что ты думаешь? Громила осторожно берет у него пакет и терпеливо ждет, пока Фил рыщет по карманам в поисках кошелька. А напоследок оставляет ему пару фунтов на проезд! Фил всё потом изумлялся — какой гуманный попался гангстер, прямо не бандит, а благотворитель: и от гамбургера ни разу не отхарчил, и дорогу до дому профинансировал...»

Леон даже засомневался: может, в *конторе* ошиблись — вряд ли она бы выжила, если б кто-то из *профессионалов* поставил перед собой цель ее уничтожить.

Но что правда, то правда: была она чертовски чувствительна; мгновенно реагировала на любое изменение темы и ситуации. Про себя он восхищался: как это у нее получается? Ведь ни интонации не слышит, ни высоты и силы голоса. Неужели только ритм движения губ, только смена выражений в лице, только жесты дают ей столь подробную и глубокую психологическую картину момента? Тогда это просто детектор лжи какой-то, а не женщина!

— У тебя меняется осанка, — заметила она в один из этих дней, — пластика тела меняется, когда звонит телефон. Ты подбираешься к нему, будто выстрела

18 ждешь. А в окно смотришь из-за занавеси. Почему? Тебе угрожают?

— Именно, — отозвался он с глуповатым смешком. — Мне угрожают еще одним благотворительным концертом...

Он шутил, отбрехивался, гонялся за ней по комнате, чтобы схватить, скрутить, обцеловать...

Два раза решился на безумие — выводил ее погулять в Люксембургский сад, и был натяннут как тетива, и всю дорогу молчал — и Айя молчала, будто чувствовала его напряжение. Приятная вышла прогулочка...

День ото дня между ними вырастала стена, которую строили оба; с каждым осторожным словом, с каждым уклончивым взглядом эта стена становилась все выше и рано или поздно просто заслонила бы их друг от друга.

* * *

Через неделю, вернувшись после концерта — с цветами и сладостями из полуночного курдского магазина на рю де ля Рокетт, — Леон обнаружил, что Айя исчезла. Дом был пуст и бездыханен — уж Леонов-то гениальный слух мгновенно прошупывал до последней пылинки любое помещение.

Несколько мгновений он стоял в прихожей, не раздеваясь, еще не веря, еще надеясь (пулеметная лента мыслей, и ни одной толковой, и все тот же ноющий в «поддыхе» ужас, будто ребенка в толпе потерял; мало — потерял, так его, этого ребенка, и не докричишься — не услышит).

Он заметался по квартире — с букетом и коробкой в руках. Первым делом, вопреки здравому смыслу и собственному слуху, заглянул под тахту, как в детстве, дурацки надеясь на шутку — вдруг она там спряталась-

замерла, чтобы его напугать. Затем обыскал все видимые поверхности на предмет оставленной записки.

Распахнул дверцы кладовки на балконе, дважды возвращался в ванную, машинально заглядывая в душевую кабину — словно Айя могла вдруг материализоваться там из воздуха. Наконец, бросив на стиральной машине букет и коробку с булочками (просто чтобы дать свободу рукам, готовым смять, ударить, отшвырнуть, скрутить и убить любого, кто окажется на пути), выскочил на улицу как был — в смокинге, в бабочке, в накинutom, но не застегнутом плаще. Презирая себя, умирая от отчаяния, беззвучно повторяя себе, что у него наверняка уже и голос пропал *на нервной почке* («и черт с ним, и поздравляю — недолго музыка играла, недолго фраер танцевал!»), минут сорок он болтался по округе, отлично сознавая, что все эти жалкие метания бессмысленны и нелепы.

На улицах и в переулках квартала Марэ уже пробудилась и заворочалась еженощная богемная жизнь: мигали лампочки над входом в бары и пабы, из открытых дверей выпархивали струйки блюза или утробная икота рока, за углом по чьей-то пухлой кожаной спине молотили кулачки и, хихикая и всхлипывая, изнутри этого кентавра кто-то выкрикивал ругательства...

Леон заглядывал во все подвернувшиеся заведения, спускался в полуподвалы, обшаривал взглядом столы, ошупывал фигуры-спины-профили на высоких табуретах у стоек баров, топтался у дверей в дамские комнаты в ожидании — не выйдет ли она. И очень зримо представлял ее под руку с кем-нибудь из этих... из вот таких...

В конце концов вернулся домой в надежде, что она слегка заблудилась, но рано или поздно... И вновь угодил в убийственную тишину со спящим «стейнвеем».

На кухне он выхлестал одну за другой три чашки холодной воды, не думая, что это вредно для горла, тут

20 же над раковиной ополоснул вспотевшие лицо и шею, заплескав отвороты смокинга, приказал себе уняться, переодеться и... думать, наконец. Легко сказать! Итак: в прихожей не оказалось ни плаща ее, ни туфель. Но чемодан-то в углу спальни, он...

Да что ей чемодан, что ей чемодан, что ей все на свете чемоданы!!! — это вслух, заплошным воплем... А может, она ускользнула, почуяв опасность? Может, в его отсутствие сюда явился какой-нибудь Джерри (по какому праву Натан приволок этого типа, подарив полную свободу появления в моей частной жизни, — черт побери, как я их всех ненавижу! бедная моя, бедная гонимая девочка!).

...Вернулась она в четверть второго.

Леон уже разработал стратегию поиска, стал собран, холоден, знал, где и через кого раздобудет оружие, и был полностью готов к любому сценарию отношений с *конторой*: шантажировать их, торговаться с ними, угрожать. Если понадобится, идти до последней черты. Ждал трех часов ночи, чтобы первым делом нагрянуть к Джерри — *правильным образом...*

И вот тогда в замке простодушно и обыденно крякнул ключ, и вошла Айя — оживленная, в распахнутом плаще, с букетом пунцовых хризантем («от нашего стола — вашему столу»). Ее щеки, надраенные ветерком, тоже нежно-пунцовые, так чудно отзывались и хризантемам, и полуразвязанному белому шарфику на белой шее, а широкий разлет бровей так победно реял над ее *фаюмскими* глазами и высокими скулами...

Леон призвал все силы, всю свою выдержку, чтобы спокойно снять с нее плащ — руками, подрагивающими от бешенства; сдержанно коснулся губами леденцовых от холода губ и не сразу, а целых полминуты спустя спросил, улыбаясь:

— Где ты была?

— Гуляла. — И дальше охотно, с шутливым удовольствием: представь, облазила все вокруг и обнаружила, что года четыре назад меня сюда приводили в студию к одному фотографу. Может, ты с ним знаком? Он работает в таком размывающем стиле типа «романтизм», загадочный полет в рапиде. Мне-то лично никогда не нравились эти трюки, но есть любители подобного застарелого дерьма...

— Ты, верно, забыла, что я просил без меня не... — всё еще улыбаясь, оборвал он.

И она, тоже улыбаясь в ответ:

— Может, стоит на меня уж и колодки надеть?

После чего оба заорали, спущенные с поводков, сблизив разъяренные лица, будто собираясь сшибить-ся лбами.

Он орал как резаный, чуть не впервые в жизни (вот где дремал до поры до времени *повышенный звуковой фон Дома Этингера*: в потайном ядре его страхов, выпущенных на свободу), наслаждался: можно выораться всласть, стены бывшей конюшни вынесут пронзительную сирену разъяренного контратенора, а эта *глухомань* все равно ни черта не услышит; можно выорать весь минувший страх за нее, бешенство и ненависть (да, да, ненависть!!! — как он мог, безумец, окончательно спятивший на *этой помойной оторве*, представить себе, что *контора*... да нет, его друзья, его соратники! — могут переступить с ним черту, которую!!!..)

Айя выпевала, оплетая собственное лицо плеском обезумевших ладоней:

— Я-а-а уе-е-еду-у-у!!! Я-а не в тюрьме-е-е! Не в тюрьме-е-е!!!

Он тихо произнес, четко выговаривая:

22 — Ни пуха, ни праха!

Ушел в спальню, хлопнул дверью, рухнул на тахту лицом вниз.

Через пять минут, отгрохотавших в его висках, она вошла на цыпочках, легла рядом и стала тихо гладить его плечи несусветными своими руками — гладить, перебирать, танцевать и вышивать пальцами. Прокралась ладонями под свитер, переплела руки у него на животе, вжалась грудью в его спину, сказала хрипло, гундосо:

— Не прогоняй меня...

Он взвыл, перевернулся, взвился над нею...

...и так далее...

Но не эта очередная — исступленная, упоительная, горькая, сладкая — ссора оказалась переломной в их первых мучительных днях.

Перелом наступил чуть позже, под утро.

Впоследствии, вспоминая эти минуты, он мысленно произносил: «Хамсин сломался» — как говорят обычно в Иерусалиме, когда вся тяжесть пустынного ветра с мутной взвесью песка, с его трехдневным мороком и тоской, с его удушьем в вязком плотном воздухе внезапно дрогнет; прогнетя и освободит стрелу невидимая тети-ва, неизвестно откуда потянет налетевшим ветерком. Провеется воздух, становясь все прозрачнее и свежее — и вдруг рассеется обморок и тлен, как не было их, и певуче округлятся застывшие гребни волн Иудейской пустыни, а фиолетовый шелк туго обтянет далекие призывные груди Иорданских гор.

Она уже засыпала, и он почти заснул, и другой бы не услышал, что там она бормочет на выдохе, но он своим тончайшим слухом уловил и эти несколько слов:

— Гюнтер тоже... — бормотнула она, — те же уловки... 23

Леон открыл глаза: будто ткнули кулаком под ребро; перестал дышать... Тихо обнял ее, чтобы и во сне она его *услышала*, легко и внятно шепнул:

— Кто это — Гюнтер? Твой бывший *хахаль*?

Она открыла глаза, два-три мгновения испуганно глядела в потолок... вновь опустила веки и — в полусне, жалобно:

— Нет, Фридриха сын... *Нох айн казахе...*

И уже до утра Леон не заснул ни на минуту. Встал, оделся, долго сидел в кухне, не зажигая лампы, то и дело вскакивая и высматривая в окно предрассветную, погруженную в сонный обморок улочку, монастырскую стену напротив, желтую в свете навесных фонарей.

Вошел и постоял в гостиной. Свет уличного фонаря лепил на крышке «стейнвея» рельефы двух серебряных рамок с фотографиями: юная Эська с бессмертным кенарем и послетифозная, в рыжем «парике парубка» Леонор Эсперанса. Глубокий и тайный колодезь, что-то запретное, смутное, нежное (он говорил себе: *политональное*) между двумя этими давно минувшими лицами — бездна, из которой извлечены были его имя и образ.

Он повторял себе, что дольше так тянуться не может, что бездействие и обоюдное их молчание смертельно опасны, что время не ждет: их непременно выследят, если не мясники Гюнтера, то уж за милую душу — острые *следаки конторы*.

И неужели, жестко спросил он себя, неужели дела *конторы* ближе тебе и дороже, чем твоя — наконец-то встреченная — твоя, твоя женщина?!

Нет, моя жизнь не станет вашей мишенью. Никаких уступок! И Айю вы не получите!